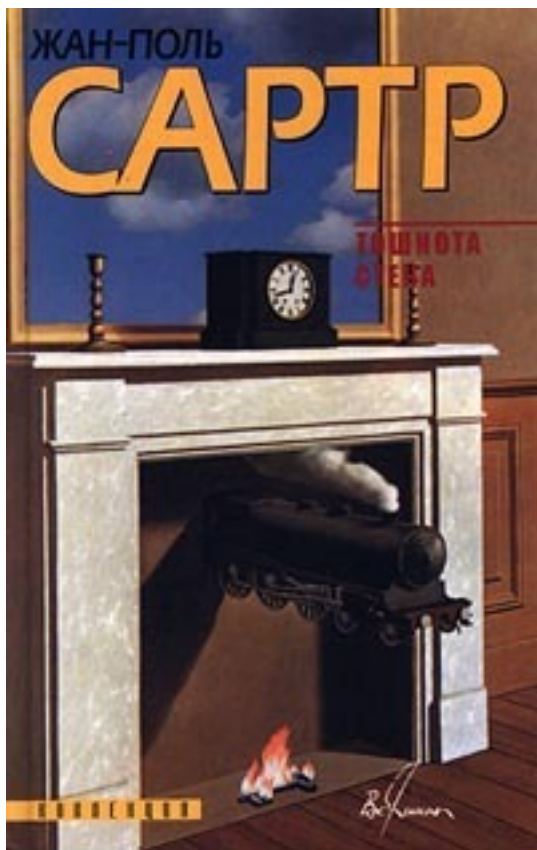


ЖАН-ПОЛЬ

САРТР

ТОШНОТА
ОТ ЕЗА



Жан-Поль Сартр

Герострат

OCR Александр Продан

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=155283

Тошнота. Стена. Серия: Вершины. Коллекция: АСТ, Фолио; Москва;

2000

ISBN 966-03-0675-X, 5-237-04683-5

Жан-Поль Сартр

Герострат

На людей надо смотреть с высоты. Я выключаю свет и становлюсь у окна; они даже не подозревают, что их можно разглядывать сверху; они заботятся об анфасе, иногда о спине, но все их уловки рассчитаны на наблюдателя в метр семьдесят ростом. Думал ли кто однажды о форме, которую принимает цилиндр, рассматриваемый, скажем, с седьмого этажа? Из простой небрежности они не защищают своих плеч и черепов пестрыми красками и яркими тканями, не умеют бороться с могущественнейшим врагом человечества – глубинной перспективой. Я наклоняюсь, и меня разбирает смех: где же она, эта знаменитая «прямая походка», которой они так гордятся? Они раздавлены на тротуаре, и две длинные полуползущие конечности выступают из-под их плеч.

На балконе седьмого этажа – вот где я должен прожить всю жизнь. Следует поддерживать нравственное превосходство материальными символами, без которых оно падет. Иначе в чем же, собственно, заключается мое превосходство над людьми? В превосходстве позиции, ни в чем ином: я поставил себя над человеком, который сидит во мне, и созерцаю его. Вот почему я люблю башни собора Нотр-Дам, платформы Эйфелевой башни, Сакр-Кер и мой седьмой этаж на улице Делаамбр. Превосходная символика.

Но иногда надо спускаться на улицу. Чтобы пойти в контору, например. Я задыхаюсь. Когда ты вровень с людьми, гораздо труднее представлять их букашками: они тебя касаются. Однажды я увидел на улице мертвого. Он упал ничком; его перевернули; из носа шла кровь. Я увидел его открытые глаза, весь его глупый вид и эту кровь. Я сказал себе: «Это ерунда, это не более волнующе, чем свежая краска. Ему вымазали нос красной краской, вот и все». Но я ощутил мерзкую слабость в ногах и затылке, потерял сознание. Меня отнесли в аптеку, трясли за плечи и заставили выпить что-то спиртное. Я убью их.

Я знаю, что они мои враги, но они этого не знают. Они любят друг друга,жимают друг другу руки. А меня... меня они иногда похлопывали по плечу, потому что считали себе подобным. Но если бы они могли знать самую нелюбезную часть правды, они бы меня избili. Впрочем, позднее они так и сделали. Когда меня схватили и когда они поняли наконец, кто я, они устроили мне страшную трепку... в комиссариате, они били меня в течение двух часов, начав с оплеух, потом били кулаками и выкручивали руки, затем содрали с меня штаны, в довершение всего швырнули мои очки на землю и, пока я, ползая на четвереньках, искал их, хохоча, пинали еще под зад. Я всегда знал, что они закончат избиванием меня: я не слишком силен и не могу себя защитить. Они, сильные, давно уже меня подстерегают; они толкали меня на улице, чтобы посмеяться, посмотреть, чем я

ответчу. Я молчал. Делал вид, будто ничего не понимаю. Однако они продолжали делать свое дело. Я боялся их – это было предчувствие. Хотя вы, конечно, понимаете, что у меня были и более серьезные причины их ненавидеть.

В этом смысле все пошло гораздо лучше с того дня, как я купил револьвер. Всегда чувствуешь себя сильным, когда предусмотрительно держишь при себе одну из тех штучек, которые могут взорваться и наделать шуму. Я взял его с собой в воскресенье, просто положил в карман брюк и пошел гулять, как обычно, на бульвары. Я чувствовал, как он упрямым крабом вцепился в мои брюки, бедром ощущал его холодок. Но от соприкосновения с моим телом он стал постепенно согреваться. Я шел немного скованно – походкой человека с возбужденным членом, старающегося скрыть это от окружающих. Я опускал руку в карман и трогал его. Время от времени я заходил в туалет – но даже внутри я был очень внимателен, так как там ведь тоже могут быть соседи, – и вынимал мой револьвер; я пробовал его на вес и рассматривал рукоятку, всю в черных квадратах, спусковой крючок, похожий на полуприкрытое веко. Другие, те, кто смотрел снаружи на мои расставленные ноги и отвороты брюк, думали, что я мочусь. Хотя я никогда не мочился в писсуарах.

Однажды вечером мне пришла мысль стрелять в людей. Это был субботний вечер; я вышел, чтобы найти Леа, блондинку, стоявшую обычно перед отелем на улице Монпарнас. Я никогда не жил интимной жизнью с женщиной; я бы по-

чувствовал себя обкраденным. Конечно, вы взбираетесь на них сверху, но они пожирают нижнюю часть вашего живота своей большой волосатой пастью, и, как я слышал, именно они и выигрывают на этом обмене. Я же ни от кого ничего не требую, но и ничего не хочу отдавать. Или, впрочем, мне бы подошла холодная, набобная женщина, которая терпела бы меня, подавляя в себе отвращение. В первую субботу каждого месяца я поднимался с Леа в один из номеров отеля Дюшене. Она раздевалась, а я смотрел на нее, не прикасаясь к ней. Иногда это отделялось в брюки само собой, но бывало и так, что я успевал вернуться к себе и там уже сам все заканчивал. Этим вечером я не нашел ее на своем посту. Я подождал немного и, так как она все не приходила, решил, что она занята. Было начало января, и стояли сильные холода. Я был огорчен; у меня живое воображение, и я сразу стал думать о том удовольствии, которое мог бы получить этим вечером. На Одесской улице я часто замечал одну брюнетку, немного перезрелую, довольно пухленькую, но вполне еще крепкую; перезрелые женщины мне не противны: когда они раздеты, вид у них гораздо более голый, чем у остальных. Но она не знала о моих условиях, и необходимость сказать ей об этом прямо меня немного пугала. И кроме того, я не доверяю новым знакомым: такие женщины запросто могут спрятать за дверью какого-нибудь мерзавца, а этот тип нагрянет внезапно и отберет у вас все ваши денежки. И вам еще повезет, если он вдобавок ко всему вас не отколотит. Этим ве-

чером у меня, не знаю откуда, появилась вдруг храбрость, и я решил вернуться к себе за револьвером и попробовать поискать приключений.

Когда через четверть часа я подошел к женщине, в кармане у меня лежал револьвер и я уже ничего не боялся. Вблизи вид у нее был еще более жалкий. Она была похожа на мою соседку напротив, жену подпрапорщика, и это мне было приятно, потому что мне давно уже хотелось увидеть ее голой. Когда мужа не было дома, она одевалась при отворенном окне, и я часто, спрятавшись за занавеской, старался ее подстеречь. Но одевалась она всегда в глубине комнаты.

В гостинице «Стелла» свободной оставалась только одна комната на четвертом этаже. Мы стали подниматься. Женщина была довольно грузной и останавливалась на каждой ступеньке, чтобы отдышаться. Я же чувствовал себя вполне легко; тело у меня поджарое, и, несмотря на живот, нужно больше чем четыре этажа, чтобы вызвать у меня одышку. На площадке четвертого она, тяжело дыша, взялась правой рукой за сердце. В левой она держала ключ от номера.

– Высоко, – сказала она, пытаясь мне улыбнуться.

Ничего не ответив, я взял у нее ключ и открыл дверь.левой рукой я сжимал револьвер, направленный прямо через карман, и не отпустил его, пока не повернул выключатель. Комната была пуста. На умывальнике лежал маленький квадратик зеленого мыла. Я улыбнулся: мне не нужны были ни биде, ни маленькие квадратики мыла. Женщина громко

дышала за моей спиной, и это меня возбуждало. Я повернулся; она протянула мне губы. Я оттолкнул ее.

– Раздевайся, – сказал я ей.

В комнате стояло мягкое кресло; я удобно в нем устроился. Именно в таких случаях я жалею, что не курю. Женщина стала снимать платье, затем остановилась, бросив на меня недоверчивый взгляд.

– Как тебя зовут? – спросил я ее, откидываясь назад.

– Рене.

– Прекрасно, Рене, поспеши, я жду.

– Ты не разденешься?

– Да нет, – сказал я ей, – обо мне не думай.

Она уронила к ногам трусы, затем подняла их и заботливо уложила на платье рядом с бюстгальтером.

– Значит, ты – маленький развратник, мой дорогой ленивец? – спросила она. – Ты хочешь, чтобы всю работу за тебя сделала твоя маленькая девочка?

Говоря это, она шагнула ко мне и, опершись руками о ручки кресла, попыталась стать меж моих ног. Но я грубо поднял ее:

– Да нет же, нет.

Она посмотрела на меня с удивлением:

– Но чего же ты хочешь, что я должна делать?

– Ничего, просто ходи, походи немного туда-сюда, больше от тебя мне ничего не нужно.

Она принялась неуклюже расхаживать по комнате. Ничто

так не раздражает женщин, как ходить раздетыми. Они не умеют ставить ноги на полную ступню. Проститутка ссутулилась и свесила руки. Что же до меня, то я был в восторге: я спокойно сидел в кресле, одетый, как на бал, – даже не снял перчаток, – а эта взрослая женщина по моей команде разделась догола и выставяла себя напоказ.

Она повернула ко мне голову и, чтобы овладеть ситуацией, кокетливо мне улыбнулась:

– Ты находишь меня красивой? Тебе приятно?

– Не твоя забота.

– Скажи, пожалуйста, – спросила она с внезапной яростью, – долго ты намерен так меня мучить?

– Садись.

Она села на кровать, и мы стали молча смотреть друг на друга. Кожа ее покрылась пупырышками. Было слышно тиканье часов за стеной. Неожиданно для нее я сказал:

– Раздвинь ноги.

Она помешкала с долю секунды, затем подчинилась. Я смотрел ей между ног и сопел. Потом я начал хохотать, да так, что на глазах у меня выступили слезы. Я ей сказал просто:

– Ты что-нибудь понимаешь?

И опять принялся хохотать.

Она смотрела на меня, словно остолбенев, затем страшно покраснела и сдвинула ноги.

– Подлец, – процедила она сквозь зубы.

Но я засмеялся еще громче, и тогда она резко встала и взяла со стула свой бюстгальтер.

– Постой, – сказал я ей, – это еще не все. Я дам тебе пятьдесят франков, но и я хочу за них кое-что получить.

Она нервно схватила свои трусы.

– Мне это надоело, ты понимаешь. Я не знаю, чего ты хочешь. Если ты привел меня сюда, чтобы издеваться надо мной...

Тогда я достал мой револьвер и показал ей. Она посмотрела на меня серьезно и, ничего не сказав, бросила трусы.

– Валяй, – сказал я ей, – шагай.

Она ходила еще минут пять, затем я дал ей мою трость и заставил немного поупражняться. Когда я почувствовал, что мои кальсоны стали влажными, я встал и протянул ей банкноту в пятьдесят франков. Она взяла ее.

– До свиданья, – прибавил я, – думаю, не очень утомил тебя за эту плату.

Я ушел, оставив ее стоять совершенно голой посреди комнаты с бюстгальтером в одной руке и банкнотой в пятьдесят франков – в другой. Я не жалел о деньгах: я ошеломил ее, а это не так-то просто – удивить шлюху. Спускаясь по лестнице, я думал: «Так вот чего я хочу – удивить всех». Я радовался, как ребенок. Я захватил с собой зеленое мыло и, вернувшись к себе, долго разминал его под теплой водой, пока оно не превратилось в маленький шарик, похожий на обсоленную мятную конфету.

Но ночью, вздрогнув, я вдруг проснулся; я вновь увидел ее лицо, глаза, какими они стали, когда я достал револьвер, и ее жирный, подпрыгивающий при каждом шаге живот.

«Какой же я дурак», – сказал я себе. Я горько раскаивался: мне надо было выстрелить, сделать из этого живота решето. В эту и три последующие ночи мне снился пупок, окруженный шестью маленькими красными дырочками.

В дальнейшем я уже больше не выходил из дому без револьвера. Я смотрел в спину людям и по их походке пытался представить, как они будут падать, если в них начнут стрелять. По воскресеньям я взял себе в привычку стоять перед Шателе ко времени выхода публики после концерта классической музыки. Около шести часов звенел звонок, и швейцары направлялись к стеклянным дверям, чтобы отворить их и закрепить защелками. Это было началом: толпа медленно вытекала наружу; люди ступали легким порхающим шагом; глаза еще полны всяких видений; сердца переполнены милыми сантиментами; многие из них озирались по сторонам с удивленным видом – улица, должно быть, казалась им совсем голубой. Они загадочно улыбались, переходя из одного мира в другой. И в этом другом мире их ждал я. Я опускал правую руку в карман и со всей силой сжимал рукоятку оружия. Немного погодя я уже видел себя стреляющим в них. Они покатаются, как пустые бочонки, падая один на другого, а идущие сзади в панике бросятся назад в театр, разбивая стеклянные двери. Это была очень возбуждающая игра;

в конце концов у меня начинали дрожать руки, и я шел к Дрехеру и пил коньяк, чтобы хоть немного успокоиться.

Женщин я бы не стал убивать. Я бы стрелял им в чресла. Или, пожалуй, в икры, чтобы заставить их немного поплясать.

Я еще не решил ничего. Но за дело я взялся так, словно решение мной уже было принято. Начал я с деталей. Я упражнялся на стенде, на ярмарке в Денфер-Рошро. Успехи мои были весьма скромными, но ведь люди довольно крупные мишени, особенно если стрелять в упор. Затем я занялся саморекламой. Я выбрал время, когда все мои коллеги были в конторе. Утро понедельника. Я старался быть подчеркнуто любезным с ними из принципа, тем более что всегда испытывал страх перед необходимостью пожимать руки. Они снимают перчатки, когда здороваются, у них какая-то непристойная манера оголять руки – медленным, скользящим вдоль пальцев движением стягивать перчатку, приоткрывая жирную и мятую наготу ладони. Я никогда не снимаю перчаток.

В понедельник утром не особенно работается. Машинистка коммерческой службы принесла нам квитанции. Лемерсье вежливо пошутил с ней, и, когда она вышла, коллеги с видом пресыщенных знатоков принялись перебирать ее прелести. Затем стали говорить о Линдберге. Они обожают Линдберга.

– А мне нравятся черные герои, – сказал я.

– Негры? – спросил Массе.

– Нет, черные в том смысле, как когда говорят, к примеру,

черная магия. Линдберг – белый герой. И меня он не интересует.

– Не так уж и легко пересечь Атлантический океан, – язвительно заметил Буксин.

Тогда я объяснил им свою концепцию «черного» героя.

– Анархист, – подвел итог Лемерсье.

– Нет, – медленно возразил я, – анархисты любят людей, только на свой манер.

– Чушь.

Но тут Массе, который был все-таки образованным, вмешался:

– Я знаю, о каком герое вы говорите. Его звали Герострат. Он хотел стать знаменитым и не смог придумать ничего лучшего, чем сжечь храм в Эфесе, одно из семи чудес света.

– А как звали архитектора этого храма?

– Не помню, – признался он, – даже думаю, что имя его неизвестно.

– Правда? Но вы помните имя Герострата? Видите, он не так уж ошибся в расчетах.

На этом наш разговор закончился, хотя я был уверен, что придет время и они его вспомнят. Что до меня, то мне, до сих пор ничего не слышавшему о Герострате, история эта придавала новых сил. Уже более двух тысяч лет прошло после его смерти, но поступок его все еще сверкал черным алмазом. Мне стало казаться, что судьба моя должна быть короткой и трагичной. Вначале это слегка пугало меня, но потом

постепенно я привык. Конечно, если смотреть на все определенным образом, то это жестоко, хотя, с другой стороны, это приносит мгновения необыкновенной яркости и красоты. Теперь, выходя на улицу, я ощущал в своем теле странную неудержимую силу. Со мной был мой револьвер – штука, которая взрывается и производит шум. Но не он вселял в меня уверенность, я сам был существом из породы револьверов, гранат и бомб. И я тоже в один прекрасный день, в самом конце моей бесцветной жизни, взорвусь и осветю мир яростным и кратким, как вспышка магния, светом. В то время часто, по ночам, воображение мое рисовало одну и ту же картину. Я анархист, ожидаю в засаде проезда царя, и у меня в руках адская машина. В положенное время проезжает кортеж, бомба взрывается, и на глазах у всей толпы мы взлетаем на воздух: я, царь и три разряженных в золото офицера.

Я неделями не появлялся в конторе. Гулял по бульварам среди моих будущих жертв или, запершись в своей комнатке, строил всевозможные планы. С работы меня уволили в начале октября. Досуг свой я заполнял теперь составлением нижеследующего письма, которое переписал затем в ста двух экземплярах:

«Месье!

Вы знамениты, и труды ваши издаются тысячными тиражами. Я скажу вам почему: потому, что вы любите людей. Гуманизм у вас в крови, и это, конечно, большое счастье. В компании вы прямо расцветаете, едва завидя одного из себе

подобных. Не зная даже его имени, вы уже чувствуете к нему симпатию. Вам нравится его тело, весь тот манер, на какой он сложен, его ноги, которые он может раздвинуть и сдвинуть по своей воле, и его руки, особенно руки: вам ужасно приятно, что на каждой руке у него по пять пальцев и что он может противопоставить большой палец остальным. Вы наслаждаетесь, глядя, как сосед ваш берет со стола чашку, потому что ведь существует особая манера брать предметы, исключительно человеческая, так часто описываемая в ваших трудах: менее ловкая и не такая быстрая, как у обезьян, но – а разве нет? – насколько более разумная. Да, вы любите человека, его походку выздоравливающего после тяжелого ранения, его вид изобретающего ходьбу при каждом шаге и его знаменитый взгляд, который не могут выдержать животные. Вы легко находите тон, которым удобнее всего говорить с ним о нем же самом, – тон смущенного целомудрия. Люди с жадностью набрасываются на ваши книги, они читают их в удобных креслах и мечтают о большой любви, несчастной и скромной, которую вы им преподносите, и это во многом их утешает – и в том, что они ленивы и трусливы, что их обманывают жены и что первого января прибавки к жалованью не будет. И они с облегчением говорят о вашем последнем романе: о, изумительно!

Полагаю, вы будете удивлены, если узнаете, что есть на свете некто, не любящий людей. Да, этот некто – я, и я люблю их так мало, что очень скоро собираюсь настрелять их

с полдюжины; вы спросите, почему с полдюжины? Потому что в мой револьвер вмещается только шесть патронов. Чудовищно, не правда ли? И более того, что за аполитичная акция? Но, повторяю вам, я не могу их любить. Прекрасно понимаю, что вы чувствуете. Но ведь именно то, что привлекает вас в них, мне как раз и отвратительно. Я не раз видел, как вы, люди, размеренно пережевываете пищу, стараясь сохранять достойный вид и перелистывая при этом экономический журнал. И разве моя вина в том, что я предпочитаю присутствовать при кормлении тюленей? Что бы человек ни пытался сделать со своим лицом, все это непременно оборачивается какой-то физиономической игрой. Когда он жует с закрытым ртом и уголки его рта поднимаются и опускаются, вид у него беспрерывно сменяющихся безмятежности и удивленной плаксивости. Вы любите это, я знаю, вы называете это неусыпной работой духа. Но мне это противно, не знаю почему; таким уж я уродился.

Если бы различие между нами сводилось к различию во вкусах, я бы не надоедал вам. Но впечатление такое, словно у вас есть вкус, а у меня его нет. Я волен любить или не любить американских раков, но если я не люблю людей, я – отверженный и нет мне места под солнцем. Они – единственные владельцы секретов жизни. Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Вот уже тридцать три года я постоянно натываюсь на закрытые двери, на которых написано: «Пусть ничто бесчеловечное не войдет сюда». Что бы я ни

пробовал начать, я вынужден бывал бросить. Приходилось выбирать: либо попытка эта оказывалась бессмысленной и заранее обреченной, либо рано или поздно она оборачивалась к их выгоде. Мысли, так или иначе с ними не связанные, мне не удавалось в себе выделить, сформулировать; они пребывали во мне, подобно неуловимым органическим процессам. Инструменты, которыми мне приходилось пользоваться, я чувствовал, принадлежали им, слова например; я хотел слов для себя. Те же, которыми я располагаю, истрепаны в нечесть скольких сознаниях; они выстраиваются сами в моей голове в силу привычки, которую они переняли от других, и сейчас, когда я пишу эти строки, мне бесконечно противно пользоваться ими. Но все это в последний раз. Говорю вам: любите людей, иначе будет совершенно справедливо, если они позволят вам заниматься одними лишь пустячками. Что же до меня, то я не желаю заниматься пустяками. Придет время, я возьму свой револьвер, выйду на улицу, и тогда посмотрим, возможно ли что-нибудь сделать вопреки им. Прощайте, месье, быть может, это именно с вами я и встречу. Впрочем, вы так никогда и не узнаете, с каким удовольствием я размозжу вам череп. А может – и это наиболее вероятно, – вы просто прочтете завтрашние газеты. И увидите, что некто по имени Поль Гильбер в приступе бешенства убил пятерых прохожих на бульваре Эдгара Кине. Вы лучше, чем кто-либо, знаете, чего стоят все эти выводы так называемой большой прессы. Вы, конечно, поймете, что я вовсе не «взбе-

шен». Напротив, я очень спокоен и прошу принять от меня, месье, заверения в моем особом к вам расположении.

Поль Гильбер».

Я вложил сто два письма в сто два конверта и надписал на конвертах адреса ста двух французских писателей. Затем я положил их в ящик моего стола рядом с шестью альбомами марок.

В течение последующих двух недель я выходил очень редко, мне необходимо было проникнуться духом моего преступления. В зеркале, куда я иногда заглядывал, я с удовлетворением замечал изменения, которые происходили с моим лицом. Увеличились глаза, они почти поглотили все остальное. Под пенсне они стали черными и мягкими, и я вращал ими, как двумя белыми глобусами. Прекрасные глаза художника и убийцы! Но я рассчитывал измениться еще больше после совершения убийства. Я видел фотографии красивых скромных девушек, служанок, что убивали и грабили своих хозяек. Я видел их фотографии до и после. До их сдержанные лица целомудренными цветами выступали из гордых чопорных ваз их пикейных воротничков. Они благоухали чистотой и доверчивой искренностью. У них были одинаковые скромные завивки. Но больше, чем их завитые волосы, воротнички, эти выражения позирующих фотографу были похожи на лица сестер; и сходство это было такого рода, что в сознании сразу всплывали понятия вроде кровных уз и фамильных корней. После... после их лица ослепительно

пылали. У них были оголенные шеи будущих обезглавленных. И всюду, всюду морщины – эти ужасные следы страха и ненависти, складки, ямы на коже, словно какое-то животное своими когтями избородило их лица. И глаза, большие черные и бездонные, как у меня. И теперь они уже не были похожи друг на друга. На каждой по-своему запечатлелся след их общего преступления. «Если, – говорил себе я, – достаточно проступка, большую часть которого составляет случайное, чтобы так изменить облик этих несчастных, чего же можно ожидать от преступления, от начала и до конца задуманного и исполненного мной самим? Оно целиком завладеет мной и уничтожит эту слишком уж человеческую уродливость... преступление, оно надвое делит жизнь совершившего его. Возможно, наступают мгновения, когда хочется вернуться назад, но оно там, за вами, закрывает вам проход. Я хочу лишь часа наслаждения моим собственным преступлением, хочу почувствовать его неудержимую роковую тяжесть. И я сделаю все, чтобы в этот час оно было моим; я совершу его на Одесской улице и, воспользовавшись паникой, скроюсь, оставив их подбирать своих мертвых. Я побегу, пересеку бульвар Эдгара Кине, затем сверну на улицу Деламбр. Мне достаточно будет тридцати секунд, чтобы добежать до дома. Преследователи мои (к этому времени) будут еще на бульваре, они потеряют мой след, и наверняка им понадобится больше часа, чтобы вновь напасть на него. Я буду их ждать и, когда услышу стук в дверь, выстрелю себе в рот.

Я стал жить более расточительно; я договорился с одним трактирщиком с улицы Вавин, и он два раза в день, утром и вечером, присылал мне на дом очень вкусную еду. Звонил приказчик, я, не открывая, ждал несколько минут, затем слегка приотворял дверь и видел стоящую на полу длинную корзину с полными, вкусно пахнущими тарелками.

К шести часам вечера двадцать седьмого октября у меня оставалось семнадцать с половиной франков. Я взял револьвер, пачку писем и вышел. Дверь я оставил открытой, чтобы, вернувшись после совершения акции, суметь побыстрее войти. Чувствовал я себя очень нехорошо, руки мои были холодны, голова, казалось, лопалась от прилива крови, а глаза неприятно слезились, охваченные каким-то непонятным зудом. Я стал разглядывать магазины. Гостиница «Эколь», лавка канцелярских принадлежностей, где я покупал свои карандаши, — я не мог их узнать. Я спрашивал себя: «Что это за улица?» На бульваре Монпарнас было полно людей. Они задевали меня, толкали, цепляли своими локтями и плечами. Я им покорился, сил сопротивляться у меня не было. Внезапно в самой гуще этой толпы я почувствовал себя ужасно одиноким и ничтожным. Как легко они могли причинить мне боль, если бы только захотели! Я боялся за револьвер в моем кармане. Мне казалось, сейчас они догадуются, что он там. Они посмотрят на меня своими суровыми глазами, и скажут «Но... но...» с напускным негодованием, и схватят меня своими человеческими лапками. «Линчевать

его!» Они подбросят меня вверх, над головами, и простой марионеткой я упаду назад им в руки. Я решил, что будет более разумным перенести на завтра выполнение моего замысла. Я пошел в «Ля Куполь» и пообедал на шестнадцать франков восемьдесят сантимов. У меня осталось семьдесят сантимов; их я выбросил в сточную канаву. Три дня я сидел дома без пищи и сна. Я запер ставни и не осмеливался ни подойти к окну, ни зажечь свет. В понедельник в мою дверь кто-то позвонил. Затаив дыхание, я ждал. Через минуту позвонили опять. На цыпочках я подошел к двери и посмотрел в замочную скважину. И увидел лишь кусочек черной ткани, пуговицу. Позвонив еще раз, неизвестный спустился по лестнице; не знаю, кто это был. Ночью у меня начались видения: пальмы, струящиеся воды, лиловый купол неба. Жажда я не испытывал, ибо время от времени пил из-под крапа умывальника. Но я был голоден. Мне привиделась также черноволосая проститутка. Дело происходило во дворце, построенном мной на Кост-Нуар в двадцати лье от ближайшего населенного пункта. Она была обнажена, и мы были одни. Под дулом револьвера я заставил ее встать на четвереньки и пройти так четыре шага, затем я привязал ее к столбу и после долгого объяснения, что я намереваюсь с ней сделать, всю ее изрешетил пулями. Сцена эта так меня возбудила, что я был вынужден освободиться. Затем я долго оставался лежать недвижимым, в ночи, с абсолютно пустой головой. Начала скрипеть мебель. Пробыло пять утра. Я был готов на

что угодно, лишь бы выбраться из этой комнаты, но я не мог выйти из-за всех этих людей на улицах.

Наступил день. Голода я больше не чувствовал, но начал страшно потеть: рубашка моя насквозь промокла. На дворе светило солнце. Я стал думать: «В закрытой комнате он затаился в ночи. Три дня он не ел и не спал. Звонили, он не открыл. Сейчас он выйдет на улицу и будет убивать». Мне стало страшно. В шесть часов вечера меня опять охватил голод. Я одурел от ярости. Налетел на какую-то мебель, включил свет в комнате, на кухне, в туалете. Я принялся распевать что-то во весь голос, затем вымыл руки и вышел. Мне понадобилось целых две минуты, чтобы опустить в почтовый ящик письма. Я просовывал их пачками по десять штук. Несколько конвертов я помял. Затем я прошел по бульвару Монпарнас и дошел до Одесской улицы. Задержавшись перед зеркалом галантереи и внимательно рассмотрев свое лицо, я подумал: «Итак, сегодня вечером».

Я остановился возле газового фонаря в конце Одесской улицы и стал ждать. Мне было холодно, но я обильно потел. Через некоторое время я увидел трех приближающихся ко мне мужчин; я дал им пройти: мне нужно было шесть. Тот, что шел слева, посмотрел на меня и прищелкнул языком. Я отвел глаза.

В семь пятнадцать две группы одна за другой вышли с бульвара Эдгара Кине. Впереди мужчина и женщина с двумя детьми. За ними шли три старухи. Я шагнул вперед. У жен-

щины был разгневанный вид, и она трясла маленького мальчика за руку. Мужчина проговорил протяжным голосом:

– Надоел мне этот негодник.

Я выдвинулся еще дальше и стал неподвижно прямо у них на пути. Мои пальцы в кармане бессильно держались за ручку.

– Извините, – сказал мужчина, столкнувшись со мной.

Я вспомнил, что запер входную дверь моей квартиры, и это меня смутило: я потеряю драгоценное время. Люди стали удаляться. Я развернулся и машинально пошел за ними. Но стрелять в них мне уже расхотелось. Они смешались с бульварной толпой. Я прислонился к стене. Услышал, как часы пробили восемь и затем девять часов. Я повторял: «Зачем убивать всех этих людей, которые и так уже мертвы», и мне хотелось смеяться. Подошла собака и обнюхала мои ноги.

Когда мимо прошел какой-то толстяк, я вздрогнул. Я последовал за ним. Я видел складку на его шее между котелком и воротником пальто. Шел он переваливаясь и громко дыша: у него был вид здоровяка. Я достал револьвер; он был холодным и странно блестел, я чувствовал к нему отвращение; я никак не мог вспомнить, что собирался с ним делать. Глаза мои смотрели то на него, то на затылок толстяка. Складка на его шее мне улыбалась, словно губы, горькой улыбкой. Мысленно я спрашивал себя, а не выбросить ли револьвер в помойку.

Неожиданно толстяк повернулся и посмотрел на меня с

раздражением. Я отступил на шаг:

– Я только... спросить...

Он, казалось, не слышал, он смотрел на мои руки. Я с трудом закончил:

– Не скажете, где здесь улица Жете?

Лицо у него вытянулось, губы задрожали. Он ничего не сказал, только протянул вперед руку. Я попятился и сказал:

– Я хотел...

Я почувствовал, что сейчас закричу. Я не хотел этого; я выпустил три пули ему в живот. Он упал с идиотским видом на колени, откинув голову на левое плечо.

– Негодяй, – сказал я ему, – проклятый негодяй!

Я побежал. Я слышал его кашель. А также крики и топот за собой. Кто-то спросил: «В чем дело, он разбился?», и затем вдруг крик: «Убийца! Убийца!» Он не имел ко мне никакого отношения. Но он казался зловещим, как пожарные сирены в детстве. Зловещим и немного смешным. Я бежал изо всех сил.

Я совершил непростительную ошибку: вместо того чтобы подняться по Одесской улице к бульвару Эдгара Кине, я побежал вниз к бульвару Монпарнас. Когда я осознал это, было уже слишком поздно: я находился в самой гуще уличной толпы, на меня смотрели удивленные лица (я запомнил одно – лицо женщины, сильно нарумяненное, в зеленой шляпке с эгреткой), и я слышал, как сумасшедшие с Одесской улицы кричали за моей спиной: «Убийца!» Рука очутилась на

моем плече. Я совсем потерял голову: я не хотел быть задуманным толпой. Я выстрелил еще два раза. Толпа завизжала и расступилась. Я вбежал в какое-то кафе. Посетители вскакивали, когда я пробежал мимо, но не пытались меня задержать. Я пересек зал, забежал в туалет и изнутри запер дверь. В револьвере оставался один патрон.

Прошло несколько мгновений. Я не мог отдышаться, я задыхался. Вокруг стояла необычная тишина, словно люди затаились, сговорившись. Я поднял револьвер к глазам и заглянул в его маленькое отверстие, черное и круглое, – отсюда вылетит пуля, и порох обожжет мне лицо. Я опустил руки и стал ждать. Наконец они осторожно приблизились; судя по шарканью ног по полу, их была целая толпа. Они пошептались немного, затем умолкли. Я все еще задыхался, и мне казалось, что там, за перегородкой, им слышно мое дыхание. Кто-то подошел очень тихо и подергал ручку двери. Наверно, он прижался к стене, чтобы укрыться от моих пуль. Мне захотелось выстрелить, но нет – последняя пуля была моей.

«Чего они ждут? – спрашивал я себя. – Если, навалившись вместе на дверь, они сразу ее выломают, у меня не останется времени убить себя, и они возьмут меня живьем». Но они не спешили, они давали мне время умереть. Подлецы, они трусили.

– Откройте, – послышался голос, – вам не сделают ничего дурного.

Наступила тишина, и тот же голос продолжил:

– Вы отлично знаете, что отсюда вам не убежать.

Я не отвечал, я все время задыхался. Чтобы убедить себя выстрелить, я говорил себе: «Если они меня схватят, то станут избивать меня, сломают зубы и даже могут выбить глаз». Я хотел знать, умер или нет тот толстяк. Возможно, я его только ранил, а остальные пули и вовсе никого не задели... Они что-то готовили, поволокли какой-то тяжелый предмет по полу. Я быстро вложил ствол револьвера себе в рот и с силой прикусил его; но я не смог выстрелить, даже не смог положить палец на спуск. Все поглотила тишина.

Я швырнул револьвер на пол и открыл дверь.